

# Лихорадка

Автор: Серафимович Александр Серафимович

А. С. Серафимович

Лихорадка

А. С. Серафимович. Собрание сочинений в семи томах. Том второй

М., ГИХЛ, 1959

Сколько он ни идет, над ним все так же стоит беспощадное солнце, побелевшее от жара неподвижное небо, струится и дрожит горячий воздух.

Мелкий полынок, спутавшись в сухой шершавый войлок, покрывает сожженную, истрескавшуюся землю, нисколько не защищая ее от почти отвесных лучей июльского солнца. И кроме этого сизого полынки, побелевшего неба да струящегося от зноя воздуха, ничего кругом нет. Открытая во все стороны сухая степь равнодушно простирается, лениво, нескончаемо подымаясь по изволокам, отлого спускаясь в широкие сухие балки, по которым краснеет глина размытых оврагов. По балкам, чернея, расползается низкорослый терновник, да одиноко и затерянно стоят дикие яблони с объединной червем, осыпавшейся сухой листвой. Не меняясь, неподвижно стоит над краем степи белое, округло-слоистое блестящее облако. Кажется, никогда и нигде здесь не встретишь людей. Но прошлогодние пашни, пожелтевшее жнивье, далекие скирды хлеба и серые пыльные дороги, тянущиеся по степи, говорят о жизни. Да дальние курганы стоят молчаливыми памятниками давно минувшего.

А человек все идет да идет.

Пот без перерыва ползет по его сожженному, выдубленному лицу с втянутыми щеками и впалыми висками. Почерневшие босые ноги растрескались, и кровь сочится, запекаясь на солнце. Растрескались и иссохшие губы, краснея свежими тонкими трещинами. Из темных ввалившихся ям глядят воспаленные глаза. Он качается, точно его колышет ветром, но кругом стоит неподвижный зной. Длинные ноги заплетаются, как арбузные высохшие плети, и плечи, острыми углами подымающиеся над вдавленной грудью, давит лежащий на них полушубок и сума с сапогами и пожитками. Холщовая рубаха, черная от грязи, со стекающим потом, обвисает на костлявом, длинном, угловатом теле.

Зной стоит такой же неподвижный, слепящий, неслабеющий, равнодушный; даль дрожит, и все то же над головой побелевшее небо.

Из иссохшего горла над раскаленной степью проносится, как шелест мертвых сухих листьев:

-- О господи!..

Человек останавливается, поднимает руку, чтобы отереть пот, но не доносит до лица и обводит кругом мутным взглядом: по изволоку ползут овцы. Они кажутся крошечными, как серые козявки, и так же медленно ползут, как козявки.

Тогда человек собирает все силы, набирает горячего, жгущего легкие воздуха и кричит то слово, которое неотступно стоит перед ним, которое жжет и палит внутренности, которое печет губы,-- одно только слово:

-- Воды!!.

И он кричит это диким, хриплым, казалось разносящимся по всей степи голосом, но на самом деле ни один звук не нарушает мертвого, неподвижного зноя... Лишь черные, запекшиеся губы слабо зашевелились, приликая к клейким деснам:

-- Воды!..

Черные тени ложатся на лицо, с легким шелестящим звуком вырывается из полуоткрытого почерневшего рта короткое дыхание, и голова слегка качается из стороны в сторону.

-- Пойду... Идти надо... До города бы только дойти...

И, раздувая ноздри и поправляя на плечах тулуп с мешком, он идет, все так же качаясь из стороны в сторону, точно под ним колеблется земля. В ухо впивается тонкий, звенящий звук, точно комариное пение, держится некоторое время, крепнет, ширится, полнеет, как разгорающаяся искорка в темноте, постепенно заполняет голову шумом, звоном, точно там пересыпаются огромные массы песка, и он несет эту громадную переполненную, готовую раздаться голову...

Легкая дымчатая мгла быстро поплыла и закрыла спускавшееся к степи горячее небо, далекую, дрожащую в зное черту горизонта, верхушки курганов, отлого раскинувшиеся балки, яблони, овец, пыльную дорогу, и кругом пропали очертания,-- стало черно, прохладно, пусто, как в погребке, и все звуки мгновенно смолкли, как подрезанные... Потом черная тьма опять поредела и открылась дорога, красные овраги, яблони, курганы, и опять зазвучали тысячи тонких, звенящих звуков, переполнявших ему голову. И в ту же секунду он почувствовал, что дорога поплыла из-под его ног, его шатнуло, и распухшие, истрескавшиеся подошвы стали ступать не по пыли, а по жесткому, сухому придорожному полынку.

-- О господи!..

Теперь у него одно стоит в голове -- овцы. Надо дойти до овец во что бы то ни стало. В серых, казавшихся издали крохотными, животных таился весь смысл его пребывания в этой горячей степи под жгучим небом. И он шел к ним, переставляя ноги, не спуская горячего взгляда.

До них, кажется, близко, рукой подать. Он ясно различает, как они, столпившись, опустив головы, стоят сонно и неподвижно, и в то же время чувствует, что никогда не дойдет до них: степь упорно и настойчиво идет вместе с ним, идет вместе с ним дрожащая даль, все на тех же местах виднеются дальние курганы, стоят скирды хлеба, тянутся широко раскинувшиеся балки и белеет неподвижно блестящее круглое облако. И он, переводя горячее дыхание, смотрит на овец как на свое спасение...

Оттого, что он пристально глядит на них, в глазах начинает рябить. Их серая масса сливается, тянется серой каменной грядой, а изволок заслоняет горбом небо, терновник ползет по его склону темной листвой, а из-за этой лесистой горы белое облако сверкает ослепительным блеском снеговых вершин. Внизу краснеет глиной железнодорожное полотно, копошатся люди, а дальше... дальше влажным блеском сверкает вода, много воды, безграничный, простор воды; но это соленая, тяжелая, зеленоватая вода,-- и это еще больше увеличивает муки жажды.

Семеныч нисколько не удивляется: знакомые места. Вот карьер, вот насыпь, вот порохом скалу взрывали, вот длинный мост перекинут через овраг: в весеннее время и в дожди здесь бушует горная речка; а вот кресты, много крестов, как перелески, потянулись вдоль полотна: лихорадка поела несть числа народу. Не одна тысяча российских людей в лаптях полегла тут, как солома в поле.

Все знакомый народ.

-- Семеныч, здорово... опять к нам.

-- Сказывали, не уйдешь, тут останешься.

Смеются, на кресты показывают, а кресты растут, растут, лезут из земли, как молодая поросль, и уже не видно горы из-за их чащи.

Семенычу становится страшно... Подошел балластный поезд, с платформ сыплется песок, камень сбрасывают... Кондуктора присели, сигарки крутят, калякают, рабочие с лопатами, с ломом подходят -- и все желтые, худые...

-- Семеныч, а Семеныч!..

Смеются. Персюк, здоровый, в тряпье, почти голый, тоже смеется, ему ничего.

-- Ай, Семеныч... Опять наша, Семеныч...

-- Братцы...

Семеныч хочет им закричать, что он не виноват, что все это -- не так...

-- Письмо пришло... сынишка твой помер... восьми годков...

Смеются.

Семеныч хочет плакать громко, по-бабьи, и... плачет странным, воющим голосом... Нет, это -- не Семеныч, это -- шакалка... Ночью, подлые, спать не дают воем: сядут на задние лапы, сидят и воют...

И как бы в подтверждение, что это -- шакалки, опять стало темно и прохладно, и опять посветлело, и показалось на минуту, будто овцы впереди, отлогий подъем из балки, белое облако,-- но на самом деле ничего этого не было: тянулась серая каменистая гряда, горбом заслоняли небо лесистые горы, и больно сверкали на солнце снеговые вершины.

-- От бабы твоей письмо, зовет... с голоду помирает...

-- Братцы!.. братцы!..

Семеныч старается разъяснить, растолковать, что он не виноват, что его нужно отпустить, что он уже все сделал, больше с него нельзя требовать... Шесть лет работал не покладая рук, не щадя себя, работал тяжелую работу: ломал камень, бил щебень, возил землю, по колено в болоте копал канавы, валялся в лихорадке... Он работы не боится... Ведь ему только лошаденку, коровенку да землицы прикупить... Шесть лет копил, гроша на себя лишнего не истратил, с голоду не издох только потому, что кормился в артели,-- тут уж ничего урвать у себя нельзя было... Шесть лет... Баба кричала, убивалась, голосила, как по мертвому:

-- Не ходи, али возьми нас... с тобой хоть через два дня в третий есть будем, без тебя и этого не будет...

Он ушел, ушел, чтобы прийти для новой жизни... Шесть лет... Сначала посылал домой, потом перестал посылать: все уходило туда, ничего нельзя было скопить; считал дни, часы,-- как медленно, тяжело, трудно, больно капающие кровавые капли, накоплялись гроши, копейки, рубли... Пускай потерпят, все будет -- корова, лошаденка, земляца; пусть не тужат; много терпели, немного перетерпеть... Перестал и письма получать,-- слух пошел от земляков, что разбрелись, не то перемерли.

-- Го-го-го... копи, копи... Избу-то заколотили... Разбрелись... живы ли... Детишки мерли здорово... Баба на ладан дышит...

Смеются, гогочут, скалят зубы. Все скалят: и живые, и те, кому не нужно уже никакого хозяйства,-- желтые, с ввалившимися глазами, с длинными обнаженными зубами.

-- Го-го-го... все есть -- семьи нету...

-- Братцы,-- говорит умоляющим голосом Семеныч,-- братцы, разве для себя?.. Мне росинки не надо... братцы, для хозяйства...

Краснеет полотно, сверкает вода, соленая-соленая, пить нельзя, виднеются вдали мосты, станция; народ, как муравьи, копаются, а кресты все лезут, все растут. Уже не видно леса -- заслонили лес, не видно полотна -- густой чащей заслонили полотно, уже не видно моря -- заслонили море, не видно гор -- заслонили горы, не видно солнца, неба -- кругом непроходимая дремучая чаща крестов.

Семенычу опять становится жутко.

-- Сила-то, господи... сила-то их... все народ был...

Он чувствует, как по всему телу пробегает обжигающий озноб, и видит впереди серые пятна сбившихся кучками овец, чернеющий по балке терновник, видит одиноко и печально стоящие объединенные яблони, и лениво подымающуюся из лощины на изволок серую пыльную дорогу, и медленно и трудно переступающие по этой дороге чьи-то истрескавшиеся, почерневшие босые ноги.

Семеныч с усилием соображает, чьи бы это были ноги, и приходит к заключению, что это -- его собственные; потом вспоминает, что ему нужно дойти до овец. Но овцы оказываются страшно далеко. Они кажутся такими же маленькими, как изображения в отчищенных солдатских пуговицах. Но потом они оказываются возле: неподвижно стоят, сбившись в кучу, спасаясь от жары и оводов. Но вот они поднимаются на дыбы и рычат на него страшными, хриплыми голосами.

Он видит черные усатые морды с белыми клыками и вдруг слышит человеческий голос:

-- Тю, скаженные... человека съели... цытьте!..

И сейчас же раздается собачий визг. При этих звуках тулуп и сума сами собой сваливаются с Семеныча. Теперь он отчетливо сознает, что это -- отара, овчарки, чабан, степь и зной, и безумное, неутолимое желание снова прорывается, и он шелестит губами:

-- Во... ды!..

Чабан, весь пропитанный жиром, точно его варили в котле с салом, широкоплечий и медлительный, с изумлением глядит наивными добродушными глазами на пришельца и шепчет: -- Господи Иисусе... человек али холера?

-- Воды... ради самого господи!..

-- Васька, давай бочонок!

Мальчик лет двенадцати, тоже вываренный в сале, торопливо раскидывает кожухи, достает из ямки небольшой бочонок и подает Семенычу. Семеныч крестится дрожащей рукой, берет бочонок, но не в состоянии удержать. Мальчик поддерживает, и Семеныч дрожащими, спекшимися губами, весь трясясь, начинает пить. Он пьет, подняв глаза к горячему небу, потом закрывает их; пьет, все больше и больше запрокидывая голову, и по длинной, худой, жилистой шее, как пузыри, бегут глотательные движения... Чабаны молча смотрят. Наконец Семеныч отрывается от бочонка, тяжело дыша. С раздувающимися ноздрями, с округлившимися глазами он стоит, стараясь прийти в себя.

-- Откель бог несет?

-- Из-под... Дербента,-- слышится хриплый голос,-- с железной дороги... с постройки... Лихоманка нутро все выпила... мочи нету...

И он стоит, поворачивая дрожащую голову, переводя дыхание, с мучительным недоумением собрав над переносицей перекосившиеся брови и кожу. Чабаны смотрят на него.

-- Далече?

-- Воронежский... мне бы теперича... только до города... только бы до города... а там на пароход... почитай, до места... Только бы на пароход... хоть мертвого довезет...

-- Ты бы отдохнул, дядя, а то не дойдешь.

-- Нет... пойду... лягу -- не встану... целый день буду лежать... Знаю себя... перемогусь... лихоманка-то перетрясет... На пароход только бы навалиться... Спасибо, родные!..

-- На здоровье, дядя... Теперя прямо иди, прямо по дороге, как ивняк увидишь -- тут и река, перевоз, а на той стороне город... Версты с три осталось... А може, кто будет ехать, подвезет... Дай-ка помогу...

Чабан подымает и кладет ему на плечи тулуп и суму.

-- Спасибо... простите..с

-- Бог простит... Прямо теперича, прямо, не сворачивай...

Собаки сдержанно повизгивают и рычат, потом со всех ног кидаются на повернувшегося спиной Семеныча.

-- Цыть... у-у, скаженные!..

Опять зной, опять иссохший полынок, серыми извивами уходящая дорога, горячее небо, курганы, дрожащая даль.

Переставляются распухшие, потрескавшиеся ноги по горячей пыли, переливается в животе вода.

Снова на секунду дорога уходит из-под ног, и черная мертвая полоса на мгновение застигает степь, небо, солнце, но Семеныч борется, борется с этою охватывающею его темнотою и страшным усилением воли заставляет свои глаза смотреть и видеть курганы, трепещущую даль, палящее солнце.

-- Го-го-го... Копил, копил... накопил...

Он борется с безумием отчаяния. Никаких гор тут нет, никого нет, только бы до реки, до реки добраться, на пароход,-- пускай хоть мертвого доведет к семье...

-- Ха-ха-ха... к семье... Была семья... у Семеныча семья кодысь-то была... Опять к нам пришел... Не уйдешь... гляди, кресты-то...

Ничего, ничего... вон овцы, чабаны стоят,-- стало быть, в уме... Понимает: маленькими стали -- стало быть, отошел...

Он жалобно стонет, стараясь стоном отогнать наплывающий мрак, старается удержать сознание: осталось две-три версты... Овцы... Пока видит овец -- ничего, значит, еще понимает...

И он часто дышит, подымает тяжелые, как свинец, веки, взглядывает на овец, цепляясь за них, как за последнее спасение.

Мгновенно обжигающий озноб на секунду пронизывает все тело, сейчас же уступая место палящему жару, как будто внутри его раскаленная топка.

Недалеко впереди курится пыль, в пыли видна повозка, дуга, лошадь: навстречу едут. Повозка, лошадь, дуга и клуб пыли становятся все меньше и меньше -- значит, не навстречу, проезжали мимо, возле него, а он не слышал и не видел, а его могли бы подвезти.

Отчаяние охватывает Семеныча.

-- Господи, донеси!..

Измученные ноги все так же идут, сознание мутнеет... На дальнем увале виднеются овцы, а кругом, куда ни глянешь, все степь, степь и степь...

Семеныч предается воле божией: пробегает языком по жестким сухим губам, смотрит, куда бы опуститься на землю, и видит впереди поникший ветвями ивняк.

Семеныч понимает, что это затмение, и оборачивается: далеко-далеко сереют овцы, дрожат верхушки курганов, и все на одном и том же месте, над сгоревшей степью, неподвижно стоит блестящее, белое, с округлыми краями облако. Семеныч чувствует свое тело, чувствует идущие ноги.

-- Господи, благодарю тебя...-- говорит он и из последних сил добирается до ивняка.

Из-за ветвей серебрится и играет широкая река, и в глубине ее колышется опрокинутое небо и одинокое блестящее облако.

-- Слава те, господи...

Семеныч тяжело дышит, смотрит на влажную сверкающую поверхность и с трудом соображает: город виден далеко, затянутый голубой дымкой, и сквозь дымку сияют золотыми точками купола. Кругом пусто и тихо. Он сбился и не попал к перевозу.

Молниеносной дрожью пробегает озноб; небо, прибрежный песок, вода, ивняк -- все плывет кругом; руки, ноги отваливаются, как избитые. Израсходован последний остаток сил, и неслушающимися, странно ворочающимися пальцами он развязывает тулуп. На минуту он чувствует себя лежащим в полушубке спиной на земле. Острый, пронизывающий озноб мгновенно разбегаются жгучими иглами, сменяясь палящим огнем. Он стискивает зубы, напрягает все мышцы до судороги, но и это одеревеневшее, сопротивляющееся страшным сопротивлением тело не в состоянии избавиться от мгновенно пронизывающей дрожи. Он мычит, как животное,-- глухо, подавленно, точно ему забили рот чем-то мягким... Кругом все становится черно и мертво, и он теряет представление о времени...

Проступая сквозь мрак, где-то высоко-высоко нестерпимо блестит голубым блеском клочок неба; на мгновение его заслоняют, нависая, ветви ивняка... Опять черно, холодно, пусто... Потом над ним наклоняется

что-то молодое, безусое... Что это? У Семеныча голова лопается от страшного напряжения... Это не небо, не ивняк, не сверкающий, колышущийся воздух... Что это?.. Оно близко-близко наклоняется к лицу, и у него две горящие точки. Они впиваются, пронизывают... Это шакалка ночью ест падаль, и у нее светятся глаза...

Семеныч чувствует легкое щекотание на своей груди, и от этого прикосновения содрогается конвульсивно все его тело, судорогами ведет мышцы, дыбом становятся волосы...

В смертельном ужасе он не закричал, а заревел так, что заволновалось голубое небо, заструился горячий, сверкающий воздух, запрыгало и исчезло близко наклонившееся лицо с светящимися глазами... А он все ревет страшным, нечеловеческим голосом, который заполняет все пространство, всю степь, ревет, как привязанный бык, которого медленно режут тупым ножом.

Но те, кто торопливо отвязывает ловкими пальцами с гайтана на груди пропотелую, пахнущую острым запахом больного тела сумочку, те не слышат этого рева. Они только видят прилипшие к клейким деснам иссохшие губы, оскаленные, подернутые тонкой слизью зубы, слышат прорывающееся сквозь них с свистящим шипением горячее дыхание; видят неподвижно лежащий за зубами вспухший язык и бессильно распростертое тело... Потом с преступно-радостными лицами оба скрываются в ивняке.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые напечатано в журнале "Русское богатство", 1903, No 7, стр. 170--178. Сам автор по памяти сообщает, что рассказ был написан во время пребывания его в Петербурге в 1902 году. "Я приехал тогда в Петербург "выбиваться": имени у меня еще не было. Поселился я в номерах на Невском. Деньги скоро иссякли, сидел голодный. Приходил ежедневно номерной, приносил счет, а платить было нечем. Я сидел за столом, как идол, и писал рассказ "Лихорадка". Думал: "Примут -- выбьюсь, откажут -- деваться некуда"... Закончил рассказ, отнес в редакцию "Русского богатства". Провел мучительных пять дней в ожидании решения своей участи. Голодал, почти не выходил из номера. Била лихорадка, нервы были взвинчены. Встретили меня в "Русском богатстве" Якубович, затем Короленко ласково, рукопись одобрили, дали рублей сорок авансом" (т. II, стр. 431-- 432?).

Однако, по-видимому, память изменила писателю, и он отнес к "Лихорадке" обстоятельства, сопровождавшие написание другого рассказа. Серафимович действительно приезжал в Петербург 31 декабря 1902 года, но в то время он имел постоянную работу в московском "Курьере" и у него уже было имя. "Выбиваться" он приезжал в Петербург в 1898 году, когда "Донская речь", где он сотрудничал, была закрыта на восемь месяцев и он остался без работы. В Петербурге он находился с 25 ноября до 18 декабря, и встреча с Короленко, о которой вспоминает Серафимович, была возможна, так как, отсутствуя в конце ноября, Короленко в декабре вернулся в Петербург. Но тогда в "Русское богатство" был отдан рассказ "На заводе", появившийся затем в майской книжке журнала за 1899 год.

Серафимович еще приезжал в Петербург осенью 1901 года, но в этот приезд работал над рассказами для газеты "Новости и биржевая газета" ("Свои люди" и "Дорожное приключение"). Если предположить, что "Лихорадка" была отдана в "Русское богатство" в этот приезд, то, значит, она пролежала в редакции журнала более полутора лет, что маловероятно.

Скорее всего "Лихорадка" была отдана в журнал в последний приезд Серафимовича, 31 декабря 1902 года. В. Г. Короленко известил Серафимовича письмом от 9 марта 1903 года (ЦГАЛИ, фонд No 457, опись No 1, ед. хр. No 290] о принятии рассказа в "Русское богатство".